

НОМИНАНТ ПРЕМИИ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БЕСТСЕЛЛЕР»

Мария
МОНОВА

**МЫ
ОТРЫВАЕМСЯ
ОТ ЗЕМЛИ**

**Новая
Проза**

Марианна Ионова
Мы отрываемся
от земли (сборник)
Серия «Новая проза (РИПОЛ)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43117248

Мы отрываемся от земли:

ISBN 978-5-386-10670-6

Аннотация

...Был остров, стал материк, стал город. Острова нет, город спускается к реке. Но суда проходят по Волге мимо, здесь не швартуются, город без пароходной пристани. Странно, Волга, и она отдала свой остров, и место стало потайным – на самой непотайной реке. Река – Волга, дерево – береза, береза стоит позади платформы и означает, что можно повернуть налево в город и направо к реке, но никуда не указывает. Деревня прямо, сводя город и реку. Оттуда, из вечера, из вчера, лает собака. Мы идем прямо, улица вырастает в вечер...

Сборник повестей «Мы отрываемся от земли» – поведенный поэтическим языком, полный тонких и глубоких наблюдений рассказ о Человеке, его жизни, его любви, его немощи и его поиске Бога.

Содержание

Песня	5
1	5
2	8
3	17
4	19
5	24
6	29
7	33
8	42
9	55
10	62
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Марианна Ионова

Мы отрываемся от земли

© Ионова М.Б., 2018

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИ-ПОЛ классик», 2018

Песня

*Дай мне подойти к стене твоего дома,
прижаться к ней там, откуда могло бы расти
крыло, и прошептать в ту невидимую сеченую рану,
из которой ты вышел юношей, стариком, вышел с
кузовом за спиной*

1

Ребята на школьном дворе играют уже по-весеннему, хотя и сугробы.

Свет высекает из прутьев ограды искры, пока идешь вдоль двора.

Площадка, где дрессируют собак, примыкает через забор.

Говорят, он когда-то был манекенщиком во Всесоюзном Доме моделей, но потом «жизнь сделала с ним свое дело». Жизнь ли с ним сделала или он с жизнью, но столько лет, сколько здесь площадка, он дрессирует – тренирует, по его словам, домашних собак всех пород. Рядом же в полуподвале двухэтажного флигеля, где была раньше дворницкая, у него оборудована каморка, там он проводит день, а иногда ночует.

По вечерам, не всегда, но часто, сюда приходит женщи-

на – огонек сигареты ведет ее вдоль школьной ограды, мимо пятиэтажек на той стороне улицы, с балконов которых ее и видно, к калитке. Калитка подстонет, и среди собачьих снарядов огонек потеряется.

Можно представить их разговор, когда от поллитровки осталась треть, а они смотрят друг другу в глаза, положив локти на высокий и какой-то укороченный, разделочный, что ли, обитый клеенкой стол.

– Помнишь, четыре года назад, я тогда еще в кассе на «Серпуховской» работала и мы только-только встретились, как ты жил – как собака, – говорит она ласково.

– Хуже, чем собака, – улыбается он и слегка треплет ее по загривку, точно собаку.

Он выпускает тихий одиночный посвист. Собака, маша хвостом и как бы чуть гарцуя, подходит и кладет голову ему на колено. Женщина сонным и ребячески легким смехом смеется, а дальше следует ее уверенный вывод о том, что собака ждет угощения в виде кусочка колбаски, но друг не без гордости объясняет, что собака сейчас совершенно бескорытна, просто движущая ею сила велит ей бережно, капля за каплей, излить свою чистую, звездную немоту, свою не отличимую от собачьих глаз, скромную и прозрачную городскую ночь благому хозяину.

Песня ночная, движимая от вечера к утру.

И еще раз. В вагоне сидя спит пьяная и бездомная. На Киевской входит молодой человек, садится рядом и начинает

целовать ржавый блин лица. На Краснопресненской он выходит.

Господи, Ты отвернулся всего на секунду, и в эту секунду у меня нет брода, чтобы перейти лужу, залившую двор.

Мария смотрела на воду между гаражами с одной стороны и трансформаторной будкой – с другой. Дома ее ждет работа. Скоро стемнеет.

Я так устала. Я так устала, Господи, и скоро стемнеет.

Она шла в обход, делая крюк, чужими дворами, и выла, а за ней на небольшом отдалении шли двое подростков и передразнивали, как она воет.

Шла кукушка мимо сети, а за ней бежали дети, все кричали кукумак, убирай один кулак.

От усадьбы остались барский дом конца XVIII века, в палладианском стиле, с двумя псевдоготическими флигелями 60-х годов XIX века, «швейцарский домик» того же времени, что и флигели, и деревянная часовня старше дома на столет. Просевшая и сырая, она не сдавалась: задиристо вскидывала курносые карнизы, выставляла локти, точно раскидистая ель. Русское лесное барокко.

В начале прошлого века местный обожатель Васнецова и Врубеля возвел рядышком еще одну часовню – более степную и степенную, под белой глазурью. Марии она не особенно нравилась. Новая часовня недавно была заново освящена, туда иногда заходили сотрудники, но, с точки зрения Марии,

золота внутри могло бы быть и побольше, а побелки поменьше. В старой часовне находилась мастерская реставраторов. К лету «швейцарский домик» проветривали и сушили – там открывался рисовальный класс. Все три месяца работал лагерь для ребят-детдомовцев, и почти все лето, через день, Мария встречала у ворот усадьбы своих учеников. Накануне первого занятия в Бальном зале ставились рядами стулья, перед ними крепился на раме экран, позади них, на штативе, проектор;

все было готово, и Мария приступала. Она начала с азов. По пути в зал дети миновали длинную галерею: бюсты – «головки» под Канову, фамильные портреты, итальянские пейзажи и марины... Чем отличается живопись, то есть картины, от скульптуры? Правильно: картина плоская, ее нельзя потрогать со всех сторон, а скульптуру можно, но впредь, ребята, пожалуйста, вообще ничего здесь не трогайте... Древние египтяне, древние греки, римляне; посмотрим на потолок – потолок был расписан в римском стиле, с гениями, гермами и грифонами. Пирамидами и колонной Траяна усадебное хозяйство не располагало, поэтому рано или поздно дело доходило до слайдов. Два часа пролетали, словно за чаепитием. По вторникам и субботам желающие приходили кто на урок рисования к Тамаре Антоновне, кто на урок лепки к Александре Германовне. Летняя школа искусства – вот как это называлось.

Если Мария и Александра Германовна, или Саша, пото-

му что была она лишь немногим старше Марии, приехали в Воскресенское на «летние работы», то Тамара Антоновна за последние сорок лет никуда отсюда не уезжала. Она жила во флигеле, в «отделе учета», сама и будучи «отделом учетом». Тамара Антоновна выросла поблизости, из этих мест происходила ее семья. Отец и мать Тамары Антоновны были художниками. На три летних месяца она вспоминала об этом.

Мария почти ничего не знала об «историческом заповеднике и архитектурном комплексе» Воскресенское, когда приехала сюда на другой же день после защиты диплома. Впервые она побывала здесь на экскурсии с обществом «Русская усадьба» полгода назад, зимой, и дала себе зарок вернуться. Мария мечтала о таком месте, какое проще увидеть, чем описать. Ей понравилось, что будут дети, лес, парк, колоннада и паркет со скрипом.

Парк. Когда-то регулярный, выстриженный, с лучами аллей, без ухода он погустел и прямо перетек в лес, а так – на вкус Марии – стало только милее и строже. Имелась еще площадка перед домом, где современник «Мира искусства» разбил нечто узорчато-французское, в стиле Короля-Солнца, на авторском акварельном плане, который висел у Лесникова над столом, напоминающее ячеистый огород. Его продолжали, как тут говорилось, «реконструировать». Поручено это было реставратору Николаю Мартыновичу – человеку на все руки от скуки и действительно очень скучному в течение всего дня, пока полагалось хранить трезвость. На Ни-

колае Мартыновиче, таким образом, лежала забота и о часовне, и о сем затейливом лоскуте. Последний, к счастью, был и впрямь с огород; Николай Мартынович и относился к нему по-огородному, то есть ремесленно, без художнической ревности. Зато основательно. С палисадником, как прозвали лоскут, ему никто не помогал; ради старорежимных изданий по садовой архитектуре Николай Мартынович записался в Ленинку, куда ездил аккуратно, и сумерничал на бревне возле часовни, листая подшитые ксерокопии.

Поскольку парк не кончался, а лес, стало быть, не начинался, тому, кто смотрел на усадьбу с пригорка, могло показаться, будто та стоит среди лесов. Надежда Ивановна, не моргнув глазом, опровергла бы сомнения в том, что парк имеется: показала бы следы дорожек, постаменты для бюстов под деревьями, намеки на умышленность кустарника, подстригавшегося последний раз при хозяевах... Но Мария знала, что дом стоит в лесу. Отправив учеников к их волейболу и речке, она выходила на колоннаду, с минуту обозревала палисадник (фигурировавший и как «пять соток Николая Мартыновича»), спускалась и шла по так называемой главной аллее, хотя чем та отличается от бережно протоптанной лесной тропы, не растолковала бы и Надежда Ивановна. Ближе к дому лес перенял от парка смешанный состав, но скоро становился хвойным.

Она гуляла тут одна. Саша леса не любила, и замедленность времени в имении раздражала ее, так что, дав урок и

переговорив с вожатым, который приводил детей, она шла через луг к трассе и ехала автобусом до своего Подольска. Саша появлялась в Воскресенском по будням через день. Когда зарядили жаркие дни, она стала приезжать не впритык к уроку, а с утра, чтобы вдоволь позагорать на лугу, но вот лес – этого Саша совсем не понимала.

Мария ездила домой не каждый вечер, порой оставалась ночевать во флигеле у Тамары Антоновны, а на электричку до Москвы садилась рано утром. Выходные она проводила с родными, но за все лето ни разу не погуляла в Нескучном саду. Потому что Воскресенское как-то очень быстро стало ее настоящим, а все остальное – прошлым. Когда Мария осознала это, то сначала испугалась, но потом приняла и больше об этом не думала.

В первые, самые счастливые дни подмосковный бор был для нее безлюдной тайгой, пока однажды, выходя к опушке, она сквозь стволы не различила широкую спину кого-то сидящего на *ее* бревне. Из-за близорукости подошла вплотную и встала за этой широкой спиной, а та будто не слышала ее приближения. Может, и впрямь не слышал, он – сын Николая Мартыновича, также работник в усадьбе. Точно спал сидя, спал сосредоточенно и тяжело, как валун, и бледно-желтая рубашка лежала на его закругленной спине, как раскатанное по камню солнце.

Сын помогал Николаю Мартыновичу с часовней, а еще прицельно по тонкой работе, где пасовали двое плотников

из поселка. От Надежды Ивановны и Саши Мария слышала, что Николай Мартынович, конечно, отменный столяр, но как резчик сын его превосходит. Тамара Антоновна вспоминала добрым словом жену Николая Мартыновича, мать Виталия; та умерла лет десять назад, Виталию было шестнадцать.

Николаю Мартыновичу дашь от пятидесяти до шестидесяти, в зависимости от времени дня. Высокий, худощавый, слегка сутулый, красивый честной, суховатой крестьянской красотой.

Виталик был крупнее и мускулистее, однако сразу бросалось в глаза, что широкогрудое туловище его длинно, шея ненужно мощна, и вот уже богатырство казалось не к месту, не у дел. Лицом Виталий тоже не мог тягаться с благообразным Николаем Мартыновичем: тонкие губы и надбровье шли двумя параллельными отрезками, точно проведенные по линейке, и лицо оттого всегда было, словно он дуется. Когда Мария впервые увидела Виталика – он веско, глядя в землю, вышел из мастерской, – то поразила глубокой посадке глаз. Во всем облике резчика не имелось ничего мало сказать изящного, но вообще отмеченного последними пятью веками, когда жизнь становилась уютнее, а труд – терпимее. И все же над низким лбом его вились совсем эллинистические, золотистые кудри, да и высокий подбородок делила пополам ямка, говорящая кому о сильной воле, а Марии – о сложности. Ее опыт говорил, что простачки этой отметины не носят.

Таким образом, Мария исподволь была настроена к Виталику доброжелательно и теперь смутилась, как бы не нарушить его уединения, в котором люди физически сильные так нуждаются. Подумала: раз уж резчик не услышал ее приближения, то не услышит и тихого ухода, повернулась, и вдруг тот повернулся вслед.

– Извините, – сказала Мария.

– Не страшно.

Голос был ему под стать.

– Я часто здесь гуляю, – сказала Мария зачем-то.

– А я часто здесь сижу. Но теперь вроде пересидел...

Сколько я сижу – час?

– Не знаю. Я только что подошла.

– Да? Бывает...

«Что бывает?» – подумала Мария. А Виталик тем временем встал, переступил через бревно и оказался больше в лесу, чем на опушке перед полем. Руки его вяло висели, не как хозяина – положения, леса, бревна ли.

– Нас не представили... Мария. – Мария протянула руку. – Вы, наверное, уже знаете, что я здесь работаю.

– Да, знаю: вы с детьми... Виталий. Очень приятно.

Шли назад, к усадьбе.

– Вот сегодня рассказывала им о Помпеях. Сначала думала показать только слайды с фресками... Но в итоге пришлось коснуться и извержения – конечно, я старалась не напугать их... За его навязчивым величием Рима даже страда-

ния христианских мучеников не пробирают так, как должны бы. А помпейская смерть, она самая что ни на есть римская: застылая, мемориальная... Даже из мертвых людей и зверей, из каравая хлеба она сделала статуи. Их ведь накрыло облаком пепла, а потом этот пепел застыл. Благодаря чему мы имеем слепки...

– Пеплом? – Оказалось, Виталик слушал. – Не лавой?

– Нет-нет. Вернее, пеплом с частичками пемзы – тем, что выбросил в небо Везувий. Облако полетело к городам Помпеям и Геркулануму и опустилось на их узкие, аккуратно мощенные улицы. – Сейчас она повторяла фразы из утреннего урока, с теми же интонациями, – Люди занимались своими повседневными делами: кто торговал в лавке, кто покупал, кто пек хлеб, кто играл с детьми, кто спал полуденным сном, кто сидел на крыльце перед домом... Никто так и не понял, что произошло. Наверное, когда солнце внезапно померкло, многие подумали про затмение. А спустя несколько часов ни в Помпеях, ни в Геркулануме уже не было никого живого. Люди, собаки, кошки и птицы – все задохнулись под толщей пепла. Два города вымерли за четыре дня. Пепел, немного пемзы – и два города стихли.

– Вот вертишейка, – сказал Виталик.

Мария взглянула туда, куда глядел он, и увидела только вздутость на коре безымянного дерева, но вдруг бугор шевельнулся, и разлтая, будто в широкой накидке, птица с клювом-стручком взбежала по серпантину вверх.

– Надо же, мраморная, – сказала Мария.

– Подделывается под кору, – сказал Виталик. – Под древесный гриб.

С минуту они молча смотрели туда, где никого уже не было.

Они шли, тропка все выпрямлялась, скучнела. Молча. Идти в молчании после таких двух реплик было все равно что идти навьюченной. Подойдя к палисаднику, Мария обернулась. Виталик смотрел в сторону часовни, его ноздри по-детски слегка двигались.

– Вам тут нравится? – спросил он.

– Очень.

– И мне. Вы заходите, как будет время, к нам в мастерскую...

– Обязательно зайду, спасибо за приглашение.

Из окна комнатки на втором этаже были видны усадебные задворки с расплзающимся, превращенным вековой небрежностью в сарай хозяйственным корпусом. Во тьме лес за ним стоял сценическим задником. Но Мария любила и задворки, и жалкую старость построек, и эту мрачную маску, надеваемую лесом для устрашения. Она все здесь любила так, будто родилась в этом доме, где сто лет никто не рождался, где большую часть XX века была станция дендрологов, а потом лечебница для нервнобольных.

Теперь в этой маленькой комнате Мария чувствовала себя дома, а у себя дома только что-то переживала – потому, наверное, что здесь ничего не было. Не то чтобы Марию тянуло к аскезе – просто все Воскресенском принадлежало ей, а желать большего было бы неблагодарностью.

Здесь, и только здесь я живу цельно. Здесь все правильно, и я такая, как должно. Здесь и действие, и бездействие равно осмысленно. Здесь верится, что безмолвное житие настало, и даже не при полном безмолвии.

Тамара Антоновна за стеной вчитывается сквозь омуты линз в мелкие серые строчки собрания сочинений – обожаемый Достоевский, – а в комнате у Марии нет книг, нет ни радио, ни телевизора, только старый проигрыватель и пластинки. Конверты пахнут геранью. Вот на первом конвер-

те, от давности замшевом, вздымается кудряво-резной орган. Две фуги: Баха и Букстехуде. Тамара Антоновна пластинки не присваивала и не помнила, чьи они изначально были. Кто сюда их принес? Многие состарились непоправимо, но не эта, с фугами. Мария ставила ее каждый вечер, когда оставалась на ночь во флигеле. Тихо и шершаво – все от возраста – поющий на разные голоса орган перекрывал редкий писк, посвист и уханье из-за окна. У Баха орган то твердил на один лад бесконечную проповедь, то кротко, стеклянно позванивал, а у Букстехуде он рвался и бился, осаждая закрытые ворота, потом вдруг присмирялся и в раскаянии плакал.

Мария легла на застеленную пледом кровать, одну руку свесив, другую положив на грудь. У нее не было мыслей, только одна – смутная, едва ли похожая на мысль, скорее на ощущение, одетое первыми попавшимися словами. Еще много лет впереди.

В мирном море очень скоро наступал полный штиль, и кровать, точно плот, лишь слегка поворачивалась на одном месте, и мысль едва колыхалась: сколько еще лет пройдет, и дом будет стоять, и лес будет стоять, и она будет жить. Вот поднимется бриз и покатит ее по мирному морю, а вместе с ней на плоту усадьба, Москва, родные, Тамара Антоновна, Саша, Николай Мартынович, Виталик, Бах и Букстехуде...

4

Чтобы охватить всю больницу, нас разделили на две группы. Мы шли по отделениям, дьякон просил старшую медсестру собрать всех в столовой, мы пели рождественский тропарь, а потом дарили пациентам и персоналу иконку, молитвослов и шоколад.

– Которые не реагируют, им рядом на стол кладите, – предупредила сестра.

Ты к нам не повернулся, ты сидел с краю лавки и смотрел на дверь, словно кого-то ждал. Сомкнутые руки лежали на колене. Высокий, худой, седой, в черном тренировочном. Мы с девушкой-певчей оставили для тебя на столе.

Плотными волнами свиваются в макушку, как в раковину наutilus, алюминиевые волосы.

Это отделение было в корпусе последним.

– А всех навещают? – спросила я медсестру.

Она помотала головой, будто раскачивала взгляд перед тем, как метнуть его в угол, где все еще сидел и кого-то будто ждал ты.

У домов есть крылья. У всего есть крылья.

Самолет в небе делает кувырок. Я клеил самолеты с крыльями под прямым углом, но раньше увидел Распятие. Раскинув руки, я прыгал в воду с самой высокой вышки, выныривал, и на воде загоралась искра, сброшенная чьим-то кры-

лом. Золотое Распятие, выныривая из-за облака, скидывает мне искру.

– Он вроде бессемейный. К нам уже третий раз. Его соседи на улице ловят и приводят, мы подержим-подержим и выпускаем.

А я видел радугу через Язузу, выходящую из земли и уходящую в землю.

А мы видели славу Его, обитавшего среди нас. И мы видели друг друга. Старость, свет, утро, смех, река, дом.

– Гречищев Валентин Иванович, 1947 года рождения. Поступил две недели назад...

В этом отделении всех поздравили, священник и остальные идут в следующее, а меня сестра провожает к главврачу.

– Вообще-то мы с волонтерами не работаем...

– Дело в том, что я не совсем волонтер. Я этого человека знаю. Я, можно сказать, знакомая.

Но и нет такой сказки, чтобы мог ее рассказать мне ты и не могла тебе я.

И откуда ты все обо мне знаешь?

Как увидела тебя, сразу вспомнила, вот и ты. Начала издалека, прозондировала почву – не хотелось при всех показывать, что ты мне знаком. Медсестра говорит: что, жалко стало *дедушке*?..

– Зима на носу, а у него ни носков шерстяных, ни шарфа... Шапки вот тоже теплой... Гулять выводить, а в чем?

Сам-то он как, хочет? Гречищев? Его спросили? А его что

спрашивай, что не спрашивай... Молчит? Апатия?

От главврача меня проводили в палату. Ты сидел на койке и всматривался в иконку св. Пантелеймона, держа ее обеими руками близко к глазам. «Он плохо видит?» – спросила я шепотом сестру, та пожала плечами, как бы отказываясь признавать за твоим поведением какую бы то ни было целесообразность.

– Если хотите, я принесу Евангелие, – сказала я тебе.

Безответно.

Вязать я не умею, поэтому купила темно-синий шарф, по словам продавца, «из стопроцентной альпаки».

– Ну вот, теперь курточку, и гулять можно, – одобрила сестра.

Под койкой нашлись ботинки, в которых тебя привели, справные и какие-то юношеские, но не щеголеватые. Евангелие в моей руке ты бережно проводил взглядом до тумбочки.

– Что надо сказать? – напомнила сестра патетично и пояснила в сторону: – Он иногда говорит.

Ты кивнул мне внимательно. Сестра принесла для меня табурет.

В следующий раз была куртка, и мы вышли пройтись вокруг территории.

Когда я разматывала на тебе шарф, ты сказал, скорбно нажимая взглядом:

– Компас. Они украли.

Купленному компасу ты снисходительно улыбнулся, по-

том, все улыбаясь, зажмурился плакать, но не заплакал, а помотал головой.

– В субботу Ксенина свадьба, – сказала мама. – Продумай, что ты наденешь.

Я сказала, что помню про свадьбу и идти не собираюсь. Лариса говорила, что ожидается много гостей с Мишиной стороны, что будет его двоюродный брат и двое коллег – без жен, сказала мама. Ради бога, пусть все прекрасно проведут время. Они с отцом умолкли оба, хотя отец и до этого молчал, но теперь они молчали вместе, не задумываясь о том, какую тоскливую музыку исполняют. Мама уже убежала в магазин, а я начала мыть посуду, но отец не вставал из-за стола, и я слышала теперь наши с ним, мое и его, молчания.

– Что-то ты давно не звонила племяннику Ирины Евгеньевны, – сказал он.

– Я вообще никогда ему не звонила и не позвоню. Мне хватило разговора на юбилее.

Я слышала его молчание как пустой шум воды.

– Ты предлагаешь мне и маме жить с мыслью, что однажды мы оставим тебя совсем одну?

– А что такого? Если я не заведу ораву кошек, которые съели бы мой труп...

– Не смей шутить! Это крайне серьезный вопрос. Пойми, дело не в том даже, что о тебе будет некому позаботиться в старости, а в том, что человек должен быть кому-то нужен! Всегда. Я вот, например, нужен вам с мамой... Зачем жить,

если ты никому не нужен?!

Я подошла и обняла его, сначала сверху, потом с колен. Я так рада за вас, за тебя и маму, за всех, кто нашел, не ища, за всех, кто знает, что можно не быть нужным себе, но нельзя не быть нужным кому-то. Спасибо вам, сказала я. Да ну что ты, сказал отец. Как-нибудь все образуется, сказала я, главное не поддаваться отчаянию, святому отчаянию.

Мария спустилась по ступенькам с колоннады. Из часовни вышел по обыкновению набывчившийся Виталик и, проходя мимо, кивнул. Прищурившись, Мария посмотрела, как вспыхнули и потерялись в свету его воздушные кудреватые волосы. Не может быть, чтобы эта внешняя мрачность ничего не отображала, чтобы за нею стояло только душевное невежество, неумение проявлять чувства. Походка у Виталика тяжеловесная, и Марии словно кто-то шепнул: гири не на ногах, а внутри.

Она уезжала на выходные в Москву. У нее был час перед электричкой, и Мария зашла в часовню-мастерскую. Под «лесами» теснились столы и верстаки. Виталик был один, сосредоточенно-отрешенный, и Мария поняла, что ее прихода он ждет с утра.

На верстаке стоял выщербленный ангел с пегими из-за остатков позолоты крыльями. Поглядывая на него так, будто ангел замышлял побег с верстака, Виталик обстругивал чурбачок, откуда надлежало понемногу явиться точно такому же ангелу, но только целому, сияющему юной молочно-розовой древесиной.

В профиль покатый лоб резчика будто оплывал надбровьем на глаза; хотелось подойти и, словно шапку у ребенка, поправить, чтобы не мешало.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте... Пришли, значит?

Мария вспомнила о «гирях внутри», но тут же запретила себе.

– Не идут у меня из головы эти Помпеи, – проговорил Виталик. – Как они там все задохлись от пепла... Жутко. Думал даже, приснится. Бог миловал... Но вот ведь кара Божья, да? – И продолжал, снимая ножом стружку с чурбанчика: – А могли там быть христиане – это ведь уже первый век нашей эры, если я не путаю?

Давал ли Виталик понять, что он и истории «не чужд», или его на самом деле заботила невредимость древнехристианской общины – с лица его Марии пока читала не лучше, чем с рунического камня.

– Нет, думаю, христиан там быть не могло. Это случилось, я имею в виду извержение, в 79 году нашей эры, значит, не прошло и полувека... Хотя кто знает...

– Ну, в самом Риме-то их небось уже всю истребляли?

Виталик врезался ножом в мякоть дерева.

– Может... Вполне вероятно. Я историю христианства знаю так, поверхностно...

– А вы веруете? – спросил Виталик, наконец взглянув на нее.

– Да, – ответила Мария сразу и спокойно, отметив про себя, что сама спросила бы по-другому.

Она, пожалуй, спросила бы так: «Вы верующая?»; и это

прозвучало бы сладко и немощно, а кто-то спросил бы: «Вы верите в Бога?», и это прозвучало бы вполне хорошо, но не достаточно сильно для Виталика.

– Ну, это, извините, сейчас все... И вы воцерковлены? Или нет?

– Если вы подразумеваете крещение, то меня крестили в четыре года. И нательный крест я ношу.

– В четыре года? – Он усмехнулся. – Это что же будет – начало 90-х? А... все ясно с вами.

– Что ясно?

– Ну, когда *можно* стало, тогда и крестили.

– А вас раньше?

– Меня – да. А в церковь вы ходите? То есть жизнью Церкви живете?

– Боюсь, что нет.

Она становилась жалкой, а рука Виталика – все более уверенной и упрямой, высекая грани на чурбаке, будто наказывала.

– Правильно боитесь. Потому что спастись не надейтесь, пока в храм не придете. Вот когда придете, и не один раз, а два, три, ну и там... Тогда считайте, что появилась у вас зацепка...

Мария сама не себе верила: ее с размаху окатили, а она и не захлебнулась, ничуть не обиделась. Только так он и может, только так и должен, если и впрямь желает ее спасения.

– Вы считаете, что вне Церкви спастись нельзя? – спроси-

ла Мария, хотя знала, что услышит.

– Это не я считаю, – ответил Виталик сухо.

– Да, да, конечно... Извините, я забыла, ведь и в Символе веры говорится про Церковь... А еще я совсем забыла, что мы с вами как-никак в часовне!

Она запрокинула голову, стала смотреть по сторонам. Часовня-мастерская склонялась более к мастерской; сквозь «леса» крошащаяся резьба проглядывала угрюмо и темно. Иконы перед реставрацией вынули и спрятали где-то в доме, впрочем, Надежда Ивановна обмолвилась, что досталось им – мало не покажется, и звучало это, как и все из уст замдиректора, словно образа вместе с усадьбой и ее обитателями ведут какую-то тайную войну или держат оборону...

Теперь тут было просто много дерева, даже избыточно. И дерева старого, хлипкого, словно бы зябкого и зимой, и летом. Марии нравилась часовня снаружи, потому что снаружи часовня *была*. И из-за того, что ее обманули или она сама себя обманула, войдя внутрь, Мария почувствовала вдруг неуютность, неловкость рассуждений о вере не только здесь, но и между ними: между тем, кто праздно переминается с ноги на ногу, и тем, кто кромсает чурбан, поскольку и первый, и второй равно не правы, равно не тем заняты – здесь, сейчас да и вообще.

В электричке Мария все видела перед собою Виталика: он ведь работал, а она болтала, и умышленно смутила его, не привычного к этим вывороченным, как лодыжки балери-

ны, гуманитарным беседам, считай, обидела. И вдруг увидела его Савлом в римских доспехах, как у Караваджо. И снова подумала: люди лучше, чем им самим кажется, их даже можно любить ни за что.

6

Когда произношу имя улицы, сильнее ее чувствую, чем когда иду по ней по самой.

Помимо квадратного счастья от того, что иду, иду, еще видишь, бывает, перекресток с угловым домом 50-х, и кажется: вот. А что *вот*? Или стая голубей подымет над метро, и вдруг: вот.

Уже давно меня тянет съездить до станции метро «Нагорная». Всю жизнь живу в Москве, а на «Нагорной» никогда не бывала. Неужели это имя ей ничего не значит, неужели ничем мне не обернется? Слабо верю.

Мое стремление на юг Москвы никто не поймет. Туда, что начинается от метро «Автозаводская», но я даже не смогу объяснить, что там начинается. Если я скажу, что небо приподнимается и Москва-река ярче сверкает, ко мне в лучшем случае повернутся спиной – никто не поймет. Если я скажу, что там – я и ты, в меня чем-нибудь кинут. Настоящие я и ты, добавлю для большей путаницы.

Меня тянут в места, переключающие с центра на окраину, с города – на жилье. С того, где есть все, на то, где нет ничего, через то, где есть что-то. Интереснее всего то, где есть что-то. Обычно что-то затеряно между фабриками, заводами и зелеными пятаками, похожими на священные рощи, потому что обжиты и укромны.

Здесь, на юге, отзывчивость к свету у тротуара и проезжей части, у целомудренных – то просто и бодро, то опрятно-убогонько – фасадов, у воды, у перил мостов, у детских площадок, у скамеек и урн, у больших магазинных букв.

Но разве нет тянущих пространств, кроме юга? Северо-восток, например: от Бауманской в Измайлово, через Соколиную гору. А от Таганской площади до Рогожской заставы? И все равно, хоть через восток, но на юг. Когда же и почему потянуло на юг впервые? Я шла по Дербеневской набережной, а впереди шло переключение с августа на сентябрь. Вдоль набережной несколько, не вплотную, дородных светло-кирпичных домов. Люблю эти розовато-воробьиные кирпичные дома, они везде уместны, везде уверенны. Река загибается за горизонт, и с нею дома. На той стороне дома стоят высоко, я знаю, что там – стадион и какое-то замечательное предприятие, наполовину утонувшее в собственной раскатанной низкорослости. За ним виднеется башня Симонова монастыря, похожая на гибрид старой пожарной каланчи с павлиньей головкой, а понизу, у воды, зелень. В самом-самом низу, на повороте за горизонт, по-деревенски заросли ивы. Это не блеск, это трепет, звонкий, мглистый. С лиловатым теплом. Как фольга. И дымчатый, и пронзительный, рябкий. Рябкий. Острое тепло ряби. И ивы у воды, и вода, а небо высокое с облаками. И неряшливый парходик плывет из того предела, где пропадает река и последний кирпичный дом. Откуда над холмистым мехом деревьев поднима-

ются трубы. Плывет мимо зарослей ив, в овале неотрывного взгляда. Но в чем-то еще. В теплом блеске? В тепле желания? Кажется, вот-вот проснешься, кажется, вот-вот пронзит, согревая. И главное – там, откуда плывет пароходик.

Главное – там, перед ивами, перед поворотом реки. Оттуда раздвигается небо, оттуда трепещет блеск. Так все и решилось.

Но что *все*? Свобода?

Потребность свободы у меня прямо волчья, но разбивается, не выйдя наружу, о несвободу во мне. Страх перемещения, страх новых людей, внутренняя тугость.

Вместо того чтобы выйти под дождь, смотрю на него из окна, но странно, что именно этот дождь поливает меня сейчас, и любовь во мне оживает мясистым алоэ.

Ты – это ты не нынешний, а другой, который должен, должен и должен сбыться, к которому я никак не доеду. Кому же говорить «ты», тебе этому или ждать другого?

Когда боюсь, то представляю, как ты – нет, пусть будет условное лицо, – так вот, как другой ты гладит мои виски снизу вверх, так снимая страх.

Кирпичные пятиэтажки в деревьях и детских площадках, перемеженные асфальтовыми дорожками (столько уменьшительных суффиксов, а не портит); я выбираю, где бы мы жили с другим тобой. Как сиденья партера, идут одинаковые и неповторимые.

Мои любимые слова «так» и «вот». Я сложу их в «так вот»

повествования, вечного начала, а не в «вот так» эссеистики, вечного итога. Для хорошей истории достаточно глупой веры. Например, моей общей со всеми глупой веры в то, что счастье приносит с юга.

Но устроит ли меня всего лишь хорошая история? Для прекрасной истории, скажешь ты, нужно еще оттолкнуть банальность. А банальность приходит со словами. Потому на фотовыставке я вдруг решила не читать экспликации. Но ведь сказать все равно придется. Ведь, не сказав, не расскажешь, не опишешь, не передашь. Как сказать о том, что до слов, на языке самого того? Когда смотришь, приходят слова, и всегда фальшивые.

Я уже начала говорить. Слова суть строительные «леса» и будут разобраны.

Вот я на той стороне. Я иду по набережной, оставляя слева Новоспасский монастырь и под его стенами Новоспасский пруд, который сейчас огибают бегом юноши и девушки из некоей военизированной школы, кто еще трусцой, а кто уже перешел на шаг, и физкультурник у них совершенно типичный, сухопарый, с коротко обстриженными белыми волосами. Это набережная будет менять имена безо всякой необходимости, становясь из Краснохолмской Крутицкой, а потом Павелецкой, Даниловской, Новоданиловской и так далее. Как хорошо, что она бесконечна и многоименна. Вот дорожка предлагает мне подняться за ней чуть вверх, к жилым домам, но я иду понизу, вдоль воды, вдоль деревьев, пушисто нависших над цепочкой автомобилей, не припаркованных, а просто поставленных под деревьями, как телеги. Почему они стоят, словно приехали на пикник? А, здесь автошкола, и вот некто сосредоточенно ползет едва ли не на меня, и сентябрьский свет деревьев щекотно ласкает его корпус вместе с темно-икристым асфальтом. Малых, худых деревьев подростковый свет. Почему подростковый? Начало осени – лет пятьдесят в пересчете на человеческое. Но и на этой стороне, и на той я чувствую присутствие неназванной девушки, возлюбленной героя из обжегшего и спасшего меня романа, который так хочется переписать по-своему.

Переписать – немного – и героя, и девушку и поселить ее в районе Дербеневской набережной, где отчего-то так веет этой несбывшейся мной, хорошей, некстати, романтически и старчески-грубовато любимой. На Дербеневской улице, где все же не так сутолочно и прижимисто от старых фабричных зданий, отданных большей частью под офисы и торговлю, как на соседней Дубининской. Где старо, грубовато и как-то тихо, несмотря на промышленную тесноту. Зайди на нее в воскресенье – уснувшая сутолока, призрак труда, надежнее всей жилой тишины. Конторские здания, квартиры для служащих – непрактичная еще, томная строгость позапрошлого века, кирпич цвета серы, долгие узкие окна. Пройти между строгими пожилыми романтиками фасадами, и торцом к улице вытянут двухэтажный дом с голубятней, похожей на музыкальный ящик, и растроганное и пригнувшееся под стать дому, почти распластавшееся в нежности дерево, черное, угольное. Дальше пустырь, слегка замшевый, слегка пепельный, тополя по краю.

Пустота, и дороже нет.

И дороже нет несбывшейся героини. И, возвращаясь на набережную, быть и не сбыться ею, юно дышать в старова- том районе, кирпичном и цеховом. Вот-вот сбудется любов- ная сказка, вот-вот напишется еще одна московская сказка, вспорхнет еще одна недавняя школьница. Опять мне нужна история, и она трепещет, она обещает, она радостно плачет и ведет меня набережной на юг. Не кончается гребешок дере-

вьев, нежно разрезающий свет, не кончается ожидание пикника, утро, приветствие издали.

Я спустилась по гранитным ступеням к самой воде. Недалеко от гранитной площадки сходили в воду кусты ракиты. Боковым зрением на граните рядом с собой я как будто увидела собаку, повернулась – собаки нет. И не было. Значит, хочется подсознательно, чтобы кто-то тоже стоял. Вдруг сзади захлопало по воздуху, и туда, где померещилась собака, спикировал пеликан.

Улетел он из зоопарка? Из частного зверинца? Из цирка-шапито?

Он стоит на граните, чуть переступает, совсем не приземистый, вытянутый белоснежным, мелко-рифленным кувшином. Серо-голубые лапы, клюв зимней небесной розовости. Какие большие и строгие глаза, с ярко-желтым белком. «Баба-птица», – произношу я, вспомнив храмовое его имя. Так спокойно и мудро звучит, что можно даже не вслух. Я говорю: «Баба-птица», будто прошу о чем-то.

Мне вправе не верить, но я верю своим глазам. Как никогда, сейчас я верю всей себе целиком. Произносящей без связок, одними губами: «Баба-птица». Рукам, которые понимают, что нельзя дотронуться. Пряди, влезшей во взгляд. Пригретой солнцем щеке. Куда-то толчками на месте плывущей густой воде. Не может быть лжи в присутствии бабы-птицы.

Мне кажется, он видит меня. Он летел издалёка, этим и

объяснима его посадка, раз он просто стоит, не чистя перьев, устало потупившись. Он подходит поближе к краю, легко отталкивается и выбрасывает чернопалые крылья. Они низко несут на ту сторону.

Башня Симонова монастыря похожа на запечатанную глиняную бутылку.

Улица Лобанова скромна и пуста. В тени школа. Улица заворачивает резко, свет ударяет из-за угла, не в глаза, а в грудь. Теплый простор. Металлическая искристая свежесть. Склон, в неглубокой тарелке мигает вода, поблескивает утлое громадьё вдоль берега. Кожуховский пруд в начале проспекта Андропова. Трасса. Светлый шум скорости. Близкое прозрачное небо.

Я спустилась пологим склоном к собачьей площадке на берегу. Узкая тропа набережной, вдоль нее путаются кусты. Можно спуститься и ниже – с тропы-набережной на заасфальтированную кайму пруда. Тут сидят рыболовы (всегда хочется сказать «рыбаки»). Я не спускаюсь ниже.

Меж изящными пеналами наверху (над водой дома почему-то всегда вытягиваются) и прудом – как назвать эту землю, пробел в памяти города, зеленый брак на карте? Редкой рощей? Сушится белье на веревке.

У тропинки на пне сидит человек. За спиной у него плетеный короб. В землю упирается дорожная палка, за другой конец ее держатся большие бледные руки. Он высокий, худой, в темной куртке и темных джинсах, в матерчатой шап-

ке, напоминающей скуфью. Но и шапка мягче, и нет бороды на впалых щеках.

Он смотрит вперед, а впереди у него другой берег пруда и трасса. Я прохожу мимо и взглядываю на его обувь. Шнурованные ботинки из кожи или заменителя, не новые, но и не стоптанные. Он в начале своей дороги?

Он в начале моей.

И, пройдя уже совсем мимо, я догадываюсь, что он – это ты. Я поворачиваюсь вся назад и смотрю на него в надежде притянуть взглядом взгляд человека с коробом. Он сидел здесь до рыбаков и до пруда, и всегда в начале пути. Одиссей снаряжался в плавание, и северный безземельный крестьянин сидел на пне у дороги перед тем, как одним из товарищей взойти на борт. Черно-белый Ван Гог, ковыль, галки. Начало пути, не имеющее начала. Зачем короб вместо холщовой сумы. Скажи мне, нечерноземный и неземной.

Неделю спустя, когда 47-й трамвай проезжал платформу «ЗИЛ», я вновь увидела человека с коробом. Он шагал вдоль рельс, с коробом за плечами. Я вспомнила, как называется плетеный короб для ношения за плечами: кузов. И вдруг близость завода ЗИЛ заиграла, как река на солнце. Та самая бедная громоздкая река, что просвечивала за железнодорожьем.

В Коломенском она легкая, а берег в круглых белых былинных камнях. Русская борзая стояла в воде, полоща длинную бахрому, и, выйдя, не отряхнулась, как все собаки. Я

проводила глазами борзую и ее хозяина, глаза вернулись на другой берег, не усадебный и вообще непонятный, деревенский и жидкий, где привязана лодка, и сразу узнала. Он обогнал меня. Человек с кузовом стоял там, держась за ремни, точно геолог или турист на старом фото. Палки при нем не было.

Он стоял еще минуту, и, пока он не ушел в глубь суши, я смотрела на него.

Я поняла, что могу встречать его там, где есть какая-то связь с водой.

Через пару дней я вновь ехала на 47-м, но не сошла у метро «Коломенская», а поехала дальше, в глубь Нагатинского затона. По фарватеру Судостроительной улицы, сквозь район-полуостров. У пересечения с Якорной, на тротуаре, живой памятник, полосатый ялик, из которого мачта торчит великанской спичкой. Ялик выбросило на берег, а улицы затонули. Затонули дома с продуктовыми магазинами, без кафе. Затонул сквер с трамвайным кругом в середине.

Ласково приунывшая, нерасторопная жизнь.

Дома серого кирпича с подъездами в оправе из лепных лоз. Вот витрины хозяйственного магазина, полуциркулярные, с архивольтами, слишком пыльные и просторные, и как будто обязывающие, но оформленные по-домашнему, флаконами из-под шампуня и бывалой резиновой хрюшкой. У магазина тяжелые, из дерева и стекла, с замками, крашеные темно-красной масляной краской двери. Открывающи-

еся без таблички «открыто».

Внутри запах клеенки. Рулоны ковров, золотисто-рассыпчатые пейзажи с березами. Десертные тарелки по тридцать рублей.

Одна тарелка стоила семьдесят и была особенной, она казалась лет сорока. Кайма цвета розового крема на торте, с серой – серебро – окантовкой. В креме кружатся ласточка и ветвь сакуры.

Я прошла по затону неспешно, как поисковый катер, но не встретила человека с кузовом.

Стриж

Маленькое, холеное офисное здание, переделанный особняк. Перед ним, хоть и на тротуаре, урна: параллелепипед, сверху металл и «очко» для окурков. Как бы на краю «очка», словно на краю бассейна, притулилась птица крупнее и рябее воробья, большеголовая и крутолобая, нахохленная. Острые крылья сабельками. Миндалевидные глаза с лоском, почти с ресницами.

– Ты кто? – спросила я. – Что ты делаешь возле окурков?

Кажется, по печали его молчания я узнала прежде не виденного стрижа. Он пропал. Он готовился умереть, если надо – в зловонии, на холодном подлом металле. Он был выше меня. Он знал свою высоту и молчал, щурил изумительные глаза.

Остановившаяся при виде нас девушка посоветовала отнести его в Мартыновский переулок: там, через дорогу от храма, есть большая клетка, где живут птицы, оттуда, наверное, он и удрал. Я взяла в ладони стрижа, первый раз взяла птицу руками и понесла к храму и клетке.

Напротив храма Св. Мартина Исповедника, на территории еще одного отремонтированного особняка не без деловой жилы, за оградой и впрямь был птичий вольер. Населяли его волнистые попугайчики; теперь хочется прибавить к ним еще хоть кого-нибудь, канареек и щеглов, но, кажется, попугайчиками обходилось. Воскресенье не оставляло надежды – калитка с кодом, звонок никого не вызывал. Остановилась семья с маленькой девочкой, заулыбалась и, не ведая греха, стала обсуждать птичку. Из храма вышел сердитый молодой священник, перешел дорогу, и калитка запищала под его ключом. Я сунулась, священник выслушал меня недоверчиво, но вольер отпер. Стриж уже кусал меня за пальцы. Я опустила его на песчаный пол. Подходя к Андроньевской площади, я поняла, какой допустила промах: посадила стрижа на землю. Назад я не повернула. Через несколько дней меня занесло вновь на ту, бывшую Большую Коммунистическую, ныне Солженицына улицу, и я прильнула к двойной, ограды и вольера, решетке, ища стрижа. Его не было среди попугайчиков.

Будьте благословенны вы, среди попугайчиков. Пусть вас попугивают, а вы не пугайтесь. И будем же благословенны

мы среди попугайчиков. Человек с кузовом, твоя походка легка, твоя спина пряма, как у мальчика-туриста, как у святого. Тебе вдогонку должны *трусить* собаки.

Те из сокурсников Марии, кто решил применить по назначению диплом, подались в частные галереи. Теперь и Мария об этом подумывала, к огорчению своему признав, что работа с детьми ей не дается. На каждом уроке Мария заново, а значит, со свежей болью переживала ненужность свою и всего опыта истории, от имени которого она говорила, детям, у каждого из которых будет свой опыт. Она не могла заполнить любовь детей для искусства, для чьих-то давно истлевших дел, походов, подвигов. Ей начинало казаться, что она соучаствует в обмане, как будто и Пракситель, и средневековые миниатюристы, и Микеланджело – все подлог...

Я их потчую деликатесами, а они еще не различают вкуса простой пищи, однажды подумала Мария, когда очередной вытаращенный взгляд заполз в угол и свернулся там, окаменев помпейской побитой псиной.

Саша тоже не поладила с учительством. Она сообщила, что двое ее коллег-скульпторов уже самочинно заняли какой-то брошенный склад под мастерскую и зовут ее к себе, с собою. И хотя Саша была старше, Марии казалось отчего-то, что Сашина жизнь моложе ее жизни, что этот заброшенный склад, где зазвучат молоток, шлифовальный аппарат, смех, жаргон, ругательства, что все это едва ли не равно самой молодости.

Последние недели августа Мария жила будто бы с завершенным свидетельством о конченности, решенности чего-то, жила будто бы внутри знака препинания между концом и началом. Кончилась маленькая эпоха, но счастье истекло раньше, и Мария не горевала по нему и не спрашивала, почему каждое дерево уже не то, что в начале, почему Воскресенское было раем, когда она только здесь очутилась, а теперь ей не на что смотреть и нечего чувствовать. Мария знала, что так всегда и бывает, что счастье ненадолго останавливает время, но время все-таки смывает счастье. Мария уже не помнила, как чувствовала то, что чувствовала, потому что время просачивалось и в память. Она помнила только, что была здесь счастлива, в этом лесу, в этой комнате, и удивлялась тому, как далеко ее отнесло.

Она добралась до заветного бревна быстро, прошла сквозь лес к полю легко, не глядя по сторонам, как по коридору. Два голоса перебивали друг друга: один беспрестанно твердил *ну и что*, другой *это было*, и, как с «казнить нельзя помиловать», Мария не понимала, о чем у них речь, и желала не чтобы они примирились, а чтобы только умолкли.

Она села на бревно с намерением не думать, а только смотреть прямо перед собой, на овсяное поле, и тут же подумала о том, что не знает, для чего это нужно. Если не знать, для чего живешь, подумала Мария, то не ясно и для чего быть счастливой. А она с кипой найденных ответов не знала зачем. «Зачем?» – вступил третий голос. Зачем счастье и

память о счастье, зачем временное и тень от него?

Каждый раз начинаю с начала, подумала Мария. Виталик бы сказал, возможно, что это все «от лукавого», а может, сказал бы «крест».

Ей хотелось поблагодарить за все, о чем она помнит, но опять прозвучало: «Зачем?» Ей захотелось поблагодарить и за Виталика, и Мария почувствовала, будто глаза ей сейчас выжжет. «Плакать или смеяться?» – подумала она, и заплакала, запрокинув голову.

Позади кто-то стоял.

– Извините, я заняла ваш кабинет, – сказала Мария.

Она вдруг поняла, что всегда, когда Виталик оказывался рядом, это случайным не было: он ходил за нею, искал разговора – зачем?

– Вас кто-то обидел... или это вы *так*? – спросил Виталик.

– Это я именно *так*.

Мария подвинулась, и он сел на бревно.

– Как все-таки красиво, – сказала Мария, а в мыслях прибавила: хотя ничего, кажется, нет, только овес и небо.

– Там за полем дубовая роща, – сказал Виталик.

– А в грозу не попадем? Парит.

– Не попадем. Гроза будет к ночи.

Она обернулась: лес пропал из виду. Горизонт оставался прежним, пустым.

– Давайте сделаем привал, – предложила Мария, – иначе в

таком темпе и впрямь дойдем до рощи, а мне туда не хочется. И ноги гудят... как барабан.

– Как улей, – буркнул Виталик, достал чистый, застиранный до прозрачности носовой платок и расстелил его в проплевине среди колосьев.

Лишь встретив взгляд Виталика, Мария поняла, что от нее требуется, и села. Виталик опустился рядом. Колосья не заглушали его – доставали до плеч.

– Давно вы пришли к вере? – спросила Мария. Странно нетронутые солнцем, тупые, но длинные, с остриженными скорее практично, чем «под мясо», ногтями пальцы Виталика зажали ствол колоса, точно гусиное перо. Пальцы потянули, но колосок сидел прочно, тогда они как бы в растерянности заскользили по нему вверх и вдруг отступились, почти грациозно.

– Если по порядку, история такая, – приступил Виталик так, как приступают к историям. – Когда я вернулся из армии (раньше срока вернулся, из-за травмы – не важно: травма и травма), отец как раз должен был ехать в Сергиев Посад, там ему работку предложили. Артель уже расплзаться начала, вот он и брался за все подряд, ну и меня с собой позвал – все-таки лишние руки. Я согласился. А там ведь Лавра... Отец настоял, чтобы мы выбрались поглядеть. Тогда я в первый раз и почувствовал... Там благодать. Там все живое, *вещественное*... как объяснить толком, не знаю, но я это на себе испытал. Вы бывали?

– В детстве.

– В детстве – это считай, что не бывали. Каждый обязан съездить, окунуться хоть раз. Правда, тогда у меня дальше *смутности* не пошло. А потом поехал в Москву, в училище поступать, поступил и тут же стал искать, куда бы устроиться на столярные работы – нельзя же из отца тянуть... Тут мне кто-то из наших подсказал: в ** монастыре как раз главный храм восстанавливают. Пошел... Попал на Божественную литургию и всю до конца отстоял. Вышел из храма... как будто новый. Серьезно говорю. Не то чтобы заново родился – остался, какой был, при самом себе, со всем налипшим... со всей налипшей грязью, только словно мысли и чувства в меня вложили новые. Словно брел, брел нога за ногу и вдруг вышел к прямой дороге, встал на нее, и вид вокруг уже не тот, что прежде, и самому хочется уже другого.

На следующий же день достал Евангелие, прочел... Понял, конечно, что самому не разобраться. Стал по субботам и воскресеньям ходить, а уже через год, когда храм почти полностью восстановили, гляжу на себя: а ведь и я восстановился. Целиком... Как заново выстроился. Даже жаль бывает, что теперь врос и больше не живу этим *новым*...

– Да, этого ничто не заменит, – сказала Мария. Не сговариваясь, они встали. Поле остывало.

Мария сложила платок и отдала Виталику, тот почему-то не убрал его обратно, а зажал в руке.

– А я обратилась – не скажу «к вере» – в сторону веры,

ища пресловутый смысл жизни. Ох уж мне этот смысл жизни... – Мария засмеялась.

– Да уж известно, штука неблагодарная, – неожиданно сказал Виталик. – Сам, помню, чуть не носом землю рыл, когда его искал. Но только Бога я тогда не встретил – не туда занесло. А ведь такую яму выкопал, гнили и гнуса столько перелопатил... – И добавил: – Вы мне глаза-то не отводите. Отчего плакали, ну?

– Отчего я плакала? Отчего я плакала?... От Бога, наверное. Я часто плачу от Бога. И от философии, да, от философии тоже... У меня бывают минуты, когда я ясно вижу, что жизнь – это очень тонкий покров. И оставить, как есть, невозможно, надо с ним что-то делать! Становиться либо эстетом, и тогда его, этот покров, изо всех сил наращивать, либо аскетом – тогда еще больше его истончать. Конечно, все это продумано до меня тысячами людей, все это банальности...

– Ну и что с того, что банальности? – проворчал Виталик. – Вы не тушуйтесь. Умную мысль и повторить не грех, – продолжал он. – А у вас почти все мысли умные. А что они и другим приходили... Так ведь и в Писании во всех книгах одни и те же мысли часто повторяются, в Ветхом Завете и в Новом, но так это же для того, чтобы людям их прочнее вдолбить! Надо мысли умные уважать. И свои, и чужие.

Нет, он все-таки дуб, сказала себе Мария. А говорить буду.

– Видите ли, надоедает до бесконечности перемалывать умные мысли. Ведь они всего лишь *мои*... Даже совесть может обманывать. Кто сказал, что всегда она голос Божий, что она не окажется частью слабой, грешной, глупой меня?

Виталик молчал, ожидая услышать дальнейшее. Почему ему не приедается эта тема, почему он в любое время готов говорить и слушать о Боге?

А ведь я исповедуюсь ему, осенило Марию. Потому-то он и слушает.

– У Баха, Виталий, есть один хорал, его хор поет, и там такие слова: «Покажи нам свою огромную любовь». Он являет свою любовь, постоянно ее являет, но *для всех*, и в церкви ты один из многих... А ведь иногда так хочется... Чтобы больше не сомневаться. Если подумать, то нельзя жить, не зная Его волю – не вообще для всех, а в отношении конкретно *меня*, – и однако странно, что я могу, могу так жить... Но не хочу.

Виталик смотрел на нее пристально, озабоченно до беспощадности.

– Я обо всем об этом не думал... Наверное, у вас вера глубже. Вы как будто очень глубоко верите... Но только не там. Это как колодец выкопать: можно ведь вырыть ой как глубоко, а не там, где нужно.

– Знаю, тогда это уже не колодец, а яма, и останется в нее только провалиться.

– Нет, нельзя так про веру говорить. – Виталик нахму-

рился, но тон был почти ласковый. – Зачем же так?.. Старые иконы вот, например... их ведь сжечь или выбросить грех, и поэтому их в земле хоронят. Вы это так не переживайте. А то сами заведетесь, меня разволнуете, а какой прок... Нельзя себя заводите. Вы же женщина, вам еще детей...

Сколько сил у него забирало это примиренчество, эта ласка, Мария видела.

– Вот вы говорили, что искали смысл жизни, но Бога тогда не встретили. И смысла не нашли. А когда вы встретили Его, как стало со смыслом?

– Более-менее ясно стало, – ответил Виталик не сразу.

Еж неприветливо миновал ее ноги, и через секунду Мария вспомнила, что лист был бордово-бурый.

– Людям нужны загадки, – взвешенно продолжал Виталик. – Люди, они же как дети. Вы небось знаете, раз с детьми работаете. Уж, кажется, все объяснили вдоль и поперек, а им неймется: спрашивают и спрашивают об одном и том же. А если ответ не по нутру пришелся, начнут выдумывать, лишь бы только не успокаиваться и не делать, как надо.

– А как надо?

– Ну, вот и вы туда же! А еще православная... Извините, но вам-то зачем прикидываться, малахольную из себя строить? Это раньше, в древние времена, люди не знали, что да как и ради чего жить, а потом Господь ко всем загадкам дал ключ. Один ключ! Себя. Он *Сам Себя* в жертву принес, за нас, между прочим, а мы все вертимся, как хорек в дупле.

Все лазейки ищем... Господь нам вечную жизнь даровал – куда уж лучше! – а мы все с привременной носимся... Смысл в ней, видишь ли, ищем.

– Так, значит, про привременную вообще забыть?

– Ну, почему же забыть? Не забывать надо, а помнить, что она дана нам для испытания.

– Я согласна.

– А тут и соглашаться нечего. То есть простите... Но вы же поняли?

– Поняла. Вы правы, то есть мы оба правы в том, что без вечной жизни, без жизни будущего века нынешняя наша жизнь – это как... трамплин, с которого некуда прыгать. Но ее нельзя, по-моему, сводить исключительно к подготовке, вроде подготовки космонавтов перед запуском в космос! Да, мы в ней почти ничего не можем... Мы пытаемся взлететь и падаем. До какой только высоты человек не задирает планку! Какие только мечты не морочили людям головы на протяжении всей истории! Но в том-то и дело, что не *морочили*! Наш любимый апостол Павел писал, что вера – это осуществление невозможного и уверенность в невидимом. Я вот думаю, что Царство Божие – это осуществление невозможного. В нем сбудется всё. Все наши самые дерзкие мечты... Все невозможное, безумное и прекрасное, что мы так ясно видели воображением. Если бы мир не был прекрасен, мы ничего бы не видели. Это мир, где даются обещания. И значит, его уже нельзя презреть, а наоборот...

– Ну, насочиняли! Дерзкие, видишь ли, мечты! Да мало ли кому что втемяшится?! А Царство Божие, по-вашему, что ли, устроено под нас?

– Для нас.

– Для вот таких вот? С мечтами? Не понимаю.

Виталик смотрел прямо перед собой.

– Я думаю, если все время благодарить Бога за мир, нам не будет стыдно любить его. Я сама не знаю, почему я занимаюсь апологетикой земной жизни, как не знаю, перед кем ее оправдываю. – Мария заметила, что повышает тон и что голос словно опережает ее. – Но в одном я убеждена: в том, что вера в жизнь вечную вовсе не мешает, не может мешать нам любить *эту* жизнь.

Мария остановилась, хотя могла сказать еще много. Будто крохотные лепестки ее чистосердечия и красноречия лежали рассыпанные вокруг Виталика, как вокруг глыбы в каком-нибудь русском саду камней: мелкие, яркие, трогательные и бесполезные.

– Вот вы говорите: «Любить жизнь»... – произнес Виталик раздумчиво. – А я не пойму за что. Где она, эта жизнь, какая? И вообще, она только моя или она у всех общая?

– Общая?

– Ну да. Потому что если она только моя, то что я ее люблю, что не люблю – тут уж только мое дело. Никто этого не видит, и жизнь моя, сколько я ее ни люби, лучше-то ведь не станет. А если жизнь – это вообще всё... Вот вы-то сами *как*

ее любите, земную жизнь? – вдруг спросил он в запале, словно земная жизнь была чем-то новым, возможно иностранным, или даже Мария сама и придумала ее, а теперь всучивает.

– Вы хотите знать, что я вкладываю в слова «любовь к жизни»?

– Хочу, аж разбирает.

На пригорке у метро «Кожуховская» послевоенные, рожденные в гордой бедности, сирые приветливые дома. Вот они появились. Вот они на пригорке, за поворотом, в окне трамвая. Вот они – те. И возношу я благодарение, словно вижу землю обетованную.

– Так нельзя, – сказал Виталик.

Да, нельзя, мысленно согласилась Мария. Все слова как будто легли и уснули.

– До ереси докатились. – Серьезный, но все еще мирный Виталик встал. – И впрямь пора с разговорами кончать. А то вводим друг друга в грех... На мне тоже вина.

– Разве любить можно только главное? – выкрикнула Мария, постукивая зубами – ее знобило.

– А на неглавное-то зачем размениваться?

– Но мы же уйдем! – Она пыталась подняться, и плакала, и даже тряслась. – Мы уйдем отсюда и не знаем когда, а там, может, все будет совсем по-другому! И разве нельзя этот мир любить хотя бы за то, что мы с ним расстанемся, за то, что в любую минуту мы можем расстаться, вы и я, и неизвестно...

Виталик обернулся, шагнул к ней и протянул ей руку. Мария схватилась за нее, не по-столярски гладкую с тыльной стороны, теплую и сухую, и ей показалось, будто ее поднимающееся тело ничего не весит, будто его и нет. Секунду-две две бойницы смотрели на Марию, затем Виталик во второй раз повернулся к ней спиной и двинулся прочь.

Мария выждала, давая ему уйти, и медленно направилась к опушке.

Виталик сидел на бревне, голова его свисала к груди, и кисти рук свисали меж широко разведенных коленей. И Мария впервые отметила, что, должно быть, неудобно при его росте сидеть так низко. Хотя он сам выбрал это бревно, а значит, ему ничто не мешает.

– Я вам неправду сказал: я же ведь знаю, *как* это... Я сам это чувствовал столько раз – чувствовал жизнь, и все ей хотелось отдать, только чтобы она меня не бросала... Это не любовь, потому что любовь-то в поступках, а тут я для нее ничего сделать не могу, только хочу ее, хочу, чтобы она длилась вот такая, как есть!...

– Она – это жизнь? – спросила Мария.

Ей было жаль его, и хотелось отыграть назад, чтобы не победить, а вновь быть побежденной. Ей было жаль его, как поваленное дерево.

– Теперь мне пора, – сказала Мария.

Верхушки сосен сталкивались и разлетались. Немая, неповоротливая, в тоске бушующая сила металась над этими

местами.

– Тебе не жаль расставаться с этой работой? – спросил отец.

– С работой – нет, с Воскресенским... не знаю. Возможно, я буду скучать, иногда. Но мне грустно расставаться с Виталием. Нет, папа, я не влюбилась – я не dospорила. Знаешь, в спорах о том, чего Бог от нас хочет и чего мы хотим от Него, истина рождается, рождается и никак не может родиться. Поэтому их надо обрывать так: на середине, когда силы иссякли, а второе дыхание еще не открылось.

И Мария рассказала все по порядку, от встречи до последнего разговора, и, когда приближалась к внезапному перевороту, вдруг испугалась, не понимая, чего боится, словно кто-то встал у нее за спиной. Но оно не надвигалось сзади, а смотрело ей прямо в лицо, смотрело родными глазами отца.

– И ты человека, в шестнадцать лет потерявшего мать, учила горячо любить жизнь? – спросил отец с полуулыбкой.

– Извини, – сказала Мария. – Мне стыдно.

И оба замолчали.

– Ты не видела в жизни зла, Маруся, – сказал наконец отец, и Марии подумалось: он сокрушается о себе.

– Это плохо? – спросила она, как ребенок.

Отец пожал плечами.

«Я видела добро, глядя на отца, – подумала Мария, – я видела его от вас».

Начало ноября: зеленый газон под снегом, вместе они похожи на ягель.

На Яузском бульваре теперь гравиевая дорожка. Угловой дом на углу бульвара и улицы Воронцово поле. Если бы не было там магазина «Продукты», была бы мастерская по ремонту обуви. Стертые буквы. Направо – желтая крепость с истуканами строителей коммунизма. Дом Телешевых в коричневой, чайной, провинциальной глубине деревьев. Есть в бульварах что-то старо-богемное, провинциально-осеннее. Я пытаюсь вспомнить. Хожу по улицам-закутам Китай-города, по интеллигентной коричневой сухости ноября, и пытаюсь вспомнить. Есть несколько мест, где веет эта так недавно прошедшая, эта не моя жизнь с полутемными, северноренессансными, под Тарковского, подоконниками, дачными и загадочными. Какие-то художники жили здесь... Алкогольный хламный уют художнических квартир в старомосковской, старосоветской бульварной жизни. Застекленная мансарда пахнет гниющим деревом и лежалыми книгами. Лыжи. Абазур.

Яузский узкий бульвар круто спускается и быстро кончается. На нем никого. Я иду быстро под горку, пытаюсь вообразить еще сколько-то не моей жизни и угадать, откуда она, такая трепещущая и не умеющая стареть. Там всегда есть

какая-то романтическая девица, рука об руку с художником убежавшая в старомосковский северный ренессанс его нищей сказки. У них кипит чайник, шумит море и закатом горит абажур. Впереди у них вечная юность седой пышноволоосой романтики.

На скамьях никого, и только на одной сидит он, поставив кузов у ног. Как могла я забыть о Яузском бульваре?

– Вот и ты, – шепчу я.

От меня уже ничего не зависит. Сейчас или никогда.

Я могу ничего не делать. Я могу только сесть на ту же скамью, потому что обстоятельства стеклись сюда, как воды бульвара, и судьба на маленьких волночках, как цветной ялик с парусом из календарной страницы. Из календарной страницы – а на ней банальные горы, родные, зеленые, пахнущие сыро, пахнущие домом, блестящие от времени, банальные горы.

Я села на край скамьи. Я вспоминала людей, живших тут и мне не знакомых, вспоминала мною непрожитое, и он кристаллом осел на стенках, от всех забытых, непрожитых, незнакомых. Человек с кузовом, я тебя надышала, я тебя нацедила, потому ты ждешь только меня. Я могу не спешить. Я могу вообще ничего не делать. Вот пришла я на закорючку бульвара, на свой причал. Вот пришла я причалить или оттолкнуться. Мы качаемся в этой ладье, как близнецы и влюбленные, как знак зодиака на натальной цепочке. Нас качает юное дыхание девочки. Нас качает, как китчевый календарь

с кораблем на стене снесенного дома.

Человек с кузовом сидел так же, как в первый раз, когда я его увидела: опершись о палку, только кузов стоял у ног. Вблизи я стала рассматривать его шапку, угадывая материал, показавшийся мне вначале чуть ли не бархатом или плюшем, а может, засаленной и мерцающей тафтой, но чем дольше я смотрела, тем вернее шапка уподоблялась лыжному колпаку из синтетики. Под конец это был уже потерявший форму лыжный – ну, не лыжный, спортивный, в общем, – колпак, даже с крохотным лейблом.

– Который час, не подскажите? – спросил он, повернувшись ко мне.

– Десять минут второго.

Он не улыбнулся еще – не те были слова.

– Неужели вы куда-то спешите? – спросила я.

И тогда человек с кузовом поглядел на меня, и это было, как если бы голуби взлетели разом и медленно или птица села на воду. Как если бы что-то спорхнуло и дало отмашку – и что-то бы началось, последние листья спустились по лестницам из золотой канители.

Он улыбнулся вот этими словно надрезами на впалых щеках.

– Хорошо выглядишь, – сказал он. – Для кого нарядилась?

И легко-легко открыл кузов.

Стало понятно, почему тяжесть ноши его, такого худого, совсем не сгибает. Кузов был полон головками цветов и пти-

чьими перьями. Цветы были разные, и перья от разных птиц. Настолько разные, что уже и неважно, чьи перья, что за цветы. Настолько разные, что все с бронзовым переливом. И было видно, что перья не выдернуты, головки цветов не срезаны, а все подобрано за ветром и силой гравитации.

Из кузова должно было бы вонять гнилью, но ничем не пахло.

– Как красиво, – сказала я.

– Не то слово, – отозвался человек с кузовом, и был прав. – До конца года осталось подсобрать еще маленько... До первого снега...

– Пока вода не замерзнет, – сказала я, и тут стая голубей поднялась над бульваром, хотя взяться ей было неоткуда, и видеть я ее не могла, поднялась над бульваром, как черемуховый Ан-2.

Человек с кузовом запустил руку в ворох, и под его рукой я стала узнавать розы, магнолию, астру, подсолнух, мак, сойку (с бирюзой), ястреба (шахматное), кукушки (гречневое), черного дрозда и фламинго.

– А перо пеликана у вас есть? – спросила я.

– Перо пеликана? – Теперь у него появились густые брови, ясные, яркие усмешливые глаза. – Нет, но позарез нужно. Спасибо, напомнила. Пеликан, баба-птица – только где ж я его найду?

– Я видела на Крутицкой набережной.

Он азартно напрягся, и его азарт передался мне дрожью.

– Давно?

– Ровно месяц назад.

– Слушай, – сказал он, помолчав, – я буду перед тобой в неоплатном долгу, если ты принесешь мне его перо. А? Возьмешься?

Он смотрел на меня, прося, смотрел, напрягшись худым лицом. Приглашая. Играя.

– Возьмешься – авансом сказка. Твоя. Ну как? Хотя он не сопровождал слова ни одним движением, я догадалась, что речь идет о богатстве кузова. На «сказке» сквозь меня будто продернули нить, мне на плечи словно стряхнули снег, глаза точно завязали огнем.

– Берусь.

– Выбери цветок. – Он пододвинул кузов ко мне. – Только не долго.

Я взяла розу цветом, как японский ребенок.

– Правильно. Солнечный зайчик на липовой доске, – сказал человек с кузовом, чтобы поддержать меня.

– А что у меня за сказка?

– С принцем, – сказал он пренебрежительно, пожевав губами. – У всех у вас сказка с принцем. Ну что ты заскучала? Не все так примитивно. Для кого-то и я принц!

Встал, прямой, подхватил невесомый кузов и вскинул на закорки.

– Еще какой! – смеюсь. – Я бы за вас пошла.

– А ты выходи, – сказал он. – Я ведь знаешь, как богат.

– Разве это главное...

– Это. Только это. Ладно, иди теперь.

И зашагал: ивовый кубик, черная шайба шапки, длинные в черных джинсах резиновыми шнурами ноги. А я теперь знала, что всего-то надо быть готовой к встрече.

Дома я налила воды в стакан и пустила розу. Роза уселась в воду, как в землю, сухоньким кочаном, тугим поплавком, трепаным шелковым мячиком. А он не сказал, что загадывать и о чем думать, глядя так вот, как на свечу. И я думала все о тех же, незнакомых, которых и в памяти нет, только рядом с памятью, когда рука шарит, не попадая. Все те, кого не было для меня, они все сейчас в нем, в человеке с кузовом, все их лица и россыпь одежд. Принцы. Да нет, не принцы. Радужная россыпь, и майский ливень, и зарево, и розовые морозы, и высокие, суровые вечерние облака из труб теплоцентрали. Все, что творится в небе, там мы с тобой. Летим в океане городского неба, городской жестокой романтики.

Стакан с розой стоит на окне.

Я засыпаю и начинаю жить. Я вижу художников в пестрой парусной рвани, я вижу циркачей-моряков, единорогов и бездомных собак, египтян и архангелов. Вижу песню сирены и горное солнце, портовый бар в пустыне и венское кафе в тропиках. Вижу зябликов и снегирей, поднимающих на крыло каравеллу. Вижу смуглую кровь, женский голос дождя, змею, Кадиллак, ягненка, хижину на золотых сваях и пещерных стрекоз. Пиратское безумие трамвая и листовое

железо весны. Перстень с печатью и мальчика, вынимающего из груди «Боинг». Магические кристаллы и голые деревья на Шаболовке.

Как поздно, как боязно. Начать бы мне раньше. Всего-то месяц до снега.

Любое место – не то.

Зацепская площадь. Почему переключения с центра на окраину, где словно зияет, словно подули и развеяли сущность города, не ампириного, не шмелевского, не монастырского, не пресненского, не сталинского, не окуджавского, где вот угол кирпичного дома, вот трамвайные пути, вот ларек, почему эти переключения, освещенные всегда нищим, серебристым, как фантик, солнцем, так *обещают*? Почему они обещают любовь?

Места как воск. Сюда однажды легло и запомнилось что-то, что сама я давно забыла. Тут забыла? Попадаю сюда, и словно, как ни вертись, оно все время у меня за спиной, то, ради чего я тут. Отпечаталось, а я не узнаю следа.

Воскресное утро. До чего нет людей. Все будто вымерло, но в этом безлюдье как живут улицы и дворы, как трепетно и уютно, и приветливо живет день без людей.

Если погасить речь внутри и только смотреть, перестаешь понимать. То, на что смотришь, таинственнее и проще. Белое поле пруда с людьми. Через поле, мимо людей едет снегоуборочный трактор.

Человек спит на корточках.

Декабрь. Машины выезжают из золотистой, прохладной кварцевой глубины.

Симонов монастырь

От метро «Автозаводская» иду по противоположной стороне улицы.

И узнаю его из своего чуть ли не первого в жизни сна: стена – коричневый кирпич, кто-то толкает детскую коляску. Вот и женщины с колясками и детьми, под стенами, вдоль деревьев. Снег. Коричневая кладка. Коляски едут на снегу неподвижно, потому что и звуков нет. Только стены и снег. Коричневое и белое, и, как будто какие-то нищие, рыбаки ликуют по-своему, сурово, надвинув брови. И пряник, и рублище. Да нет, ничего этого, все это потом, когда придет, что сказать. Диковатый, щербатый городок за стенами, вырезная, с барочными валютами кроватная спинка – фронтон, а вокруг не разобрать: руина средневекового вокзала. Скворечнями леса. Башня «Дуло». Дух захватывает от скромности. Черствый, сладкий ломоть песни.

Аллея вдоль стены, стена вдоль аллеи. И внутри коричневый, рыжевато-бурый. Под снегом – задворки и царство. Нет слов у этого места. Нет слов для него. Только мой старый сон, тоже старый и выветренный. Немое место. Не потому немое, что общине глухонемых отдан Тихвинский храм, не та немота, когда звуков нет, но есть что сказать, а когда нет слов. Когда одни мои глаза говорят, но я их не понимаю. Немота говорит моим глазам, и глаза отвечают, а я лишняя,

мимо. Глухонемым есть что сказать, а мне нечего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.